

Liubov Savelova

Печевой портрет северного крестьянина в прозе Мариуша Вилька

Acta Polono-Ruthenica 17, 93-102

2012

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach
dozwolonego użytku.

Liubov Savelova
Sewerodwinsk (Rosja)

Речевой портрет северного крестьянина в прозе Мариуша Вилька

Объектом анализа в данной работе является книга М. Вилька *Волок* в ее переводе на русский язык. Как и в целом для прозы Вилька, для этой книги характерен особый тип повествования, предполагающий комбинацию жанров. Взгляд на русский Север, который здесь представлен, нельзя однозначно определить ни как „взгляд со стороны”, ни как „взгляд изнутри” – это, скорее, „взгляд в контексте” (истории, культуры, социума).

Сочетание вызывающего интерес и привлекательного по ряду причин объекта посещения (севера России), впечатлений от него, которые становятся предметом описания и основой развертывания информации, а также авторского угла зрения и обзора, живого, динамичного изложения – все это делает чтение увлекательным и втягивающим в „орбиту” глубоких размышлений по разным вопросам современности и истории человечества. Специфику художественного метода Вилька в сконцентрированном виде выражают его слова:

Во время путешествия я делал пометки – записывал мысли и сны, маршрут и встречи с людьми, еду, запахи и названия растений, оттенки облаков и направления ветра, а также обрывки прочитанных зимой историй. Словом, запечатлевал на бумаге текущий момент¹.

Но важно учесть, что этот „текущий момент”, во-первых, включен в широкий социо-культурный и исторический контекст, и, во-вторых, он запечатлевается в своем развитии, продвижении – в динамике, в течении, а не исключительно как соответствующий „настоящему времени”. Этому подчинен и словесный код, в том числе элементы народной речи, которые составляют предмет нашего исследования.

¹ М. Вильк, *Волок*, перевод с польск. И. Адельгейм, Санкт-Петербург 2008, с. 65. Здесь и далее страницы указанного издания приводятся в тексте статьи в круглых скобках.

С лингвистической точки зрения нам показалось интересным понаблюдать, как представлен речевой пласт культуры жителя (обитателя) северной российской глубинки в прозе Вилька. Определяя „русский Север” как „особый этнокультурный регион” (с. 28), Вильк указывает, что

до самой революции (а некоторые утверждают, что и по сей день) сохранились здесь в более чистой форме, чем где бы то ни было в империи, остатки старинного русского быта – крупницы русского мира. (с. 29)

К таким „крупницам” можно отнести и народную русскую речь, весьма немногословно, но довольно ярко представленную в дневниковой прозе Вилька.

Образ крестьянина органично вливается в систему действующих лиц, выведенных в книге с разной степенью индивидуализации – от простого упоминания до более или менее развернутого портрета. Среди них: бояре, купцы, ушкуйники, старцы, иноки, люди военной профессии, инженеры, зеки, люди искусства и др. Социально-статусные характеристики иногда не значимы, они могут соединяться и в одном человеке, и в рамках одного микросоциума – в этом случае нужно принимать во внимание условность всякого деления. Таково одно из художественных обобщений, вырастающее из рассуждений Вилька. Например, в описании закрытого поселка Ерцево читаем:

Можно сказать, мы незаметно – словно из яви в сон – проникаем из поселка в зону. [...] Впрочем, граница между поселком и зоной – понятие в Ерцеве условное. (с. 224)

Следует подчеркнуть, что образ „обитателя глубинки” собирательный, но представлен он во вполне конкретном воплощении – в героях, каждый из которых не вырисован выпукло, с разных сторон, но производят они впечатление ярких, запоминающихся. Их ряд (и он, по всей видимости, открытый) именно в совокупности воссоздает целостное (но в то же время не лишенное размытости) представление о рядовых жителях северной русской деревни. При всей их характерности, индивидуальности улавливается все же некий культурный инвариант, имеющий различные проявления: мировоззренческие, аксиологические, поведенческие, и в том числе – речевые. При этом образы жителей села легче слить воедино, чем представить типологию их характеров.

Как это проявляется на уровне речевых характеристик? Элементы русской народной речи (а носителями ее являются прежде всего крестьяне) причудливо вплетаются в ткань авторского повествования. Они воспринимаются одновременно и как знаки культурного кода (в отношении русского Севера), и как знаки авторской модальности, ценностной составляющей содержания текста; ср. одно из рассуждений:

А ведь контекст, выговор или ударение для каждого понятия необычайно важны; я знаю, о чем говорю, поскольку второе десятилетие живу на пограничье двух языков (вер и культур) – побегов, как бы там ни было, одного ствола. (с. 155)

При этом в тексте книги находит отражение многослойность народной речи (это ее свойство, кстати сказать, не всегда получает всестороннюю характеристику в научных описаниях территориальных диалектов). В частности, в прозе Вилька наблюдается взаимодействие нескольких пластов языковых единиц из числа тех, которые структурируют народный (крестьянский) вариант речи – это наименования специфических реалий быта и природы, народная терминология, топонимика, просторечные элементы организации фразы, ругань (обценный слой), мифопоэтическая составляющая, связанная прежде всего с остаточными явлениями из сферы фольклора и суеверий. И все это вписывается в более широкий контекст языковой рефлексии автора.

Упомянутые языковые средства можно назвать маркерами живой народной речи. Их употребление подчинено двум разным стратегиям текстообразования. Первая заключается в том, что они разбросаны по тексту, обеспечивают его глобальную связность и появляются в связи с актуализацией разных компонентов его смысловой структуры. Например, давая представление о поморах, автор использует показательные вкрапления народно-речевого характера:

Со временем на русском Севере сформировался этнический тип поморов – смелых и предприимчивых людей, привыкших к свободе, поскольку север не знал ни крепостного права, ни татарского ига. Суровый климат их закалил, ветра **вытравили**, компас они называли „**матерью**”, море – „**дорогой**”, и мерили его **днями**, не верстами, ходили против солнца до самой Оби – реки великой, и до Мангазеи. (с. 33)

Описанию реалий, показательных для северной природы и образа жизни людей в этих краях, в тексте отводится в целом значительное место, но одним из них посвящены специальные разделы (например, „Чага”, „Что касается «клюквы»”, „Калган”), другие поясняются с помощью попутных замечаний:

Под вечер, как спадет **межень** („меженью” называют здесь июльский зной, когда температура поднимается выше двадцати пяти градусов) и немного посвежеет, можно пройтись по Каргополю... (с. 163)

Из народной терминологии разнообразнее всего представлена морская и строительная. Специальные понятия выступают средством особой поэтизации текста:

(а) Бабе, как ни старайся, ни в жизнь не угодишь, а яхта... С яхтой проще... Как себе сошьешь, так и проживешь. Важно, чтобы она ветер чувствовала, как жинка мужика. Вот представь, идешь на Север... Если дует **летний** (южный) или **обедник** (юго-западный) – оба с кормы – полетишь, словно у яхты крылья вырастают, **сток** (западный) ее моментально накренил, и заскользишь на бок, **побережник** (северо-западный) или **полуношник** (северо-восточный) задувают в морду, тут уж только галсами. А **марину** лучше переждать в какой-нибудь бухточке. [...] **Мариной** Вася именует и **морянку** (северный ветер), и свою жену. (с. 88–89)

(б) Наумов рассказывает, как строили на севере Руси в прежние времена. Девиз мастеров плотничьего цеха – „рубить **добро** и **стройно**” – подчеркивает красоту и надежность постройки и роль топора в народном зодчестве Севера (распиленные балки быстро впитывают влагу, набухают и гниют). Мастер сам подбирал в лесу подходящий материал. Предпочитал **конду** (боровую, смолистую сосну), а если под каблуком выступала вода, на дерево и смотреть нечего, знамо дело – **мянда** (болотная сосна). [...] Затем дерево **корили**, тесали доски, **драли дранку**. (с. 142–143)

Знания, объективируемые данными словами со специальным значением, постепенно утрачиваются, на это указывает и автор *Волока*:

(кто из россиян знает сегодня, чем отличается сруб „в чашу” от сруба „в лапу”?). (с. 135)

Названия ветров, к примеру, известны человеку, который ходит в море, а для других это знание неактуальное, и потому часто фрагментарное. Одна

из составляющих культуры сельского общения – это ее традиционность, которая, с одной стороны, обеспечивает сохранность архаических элементов в диалектной речи, а с другой стороны – актуализирует связь языка и мировидения и проявляется, в частности, в фольклоре, народной афористике, приметах и т. п. Территориальные варианты языка неоднородны в функциональном плане; так, Л.И. Баранникова предлагает выделять в пределах диалектной речи три такие разновидности: а) разговорно-бытовую речь, б) народно-поэтическую речь, в) элементы публичной речи².

В прозе Вилька находим вариант художественного воплощения этой функциональной сложности и неоднородности сельского общения. Он вводит в повествование элементы обычаев, обрядов (в их трансформированном, осовремененном виде), фольклорных текстов, поверий:

Бражку принес Васильич – „на посошок”. По-нашему – „на стременного”. В Польше путешествовали верхом, отсюда в прощальном тосте звон „стремян”, в России же посох „обмывали” на дорожку. Васильич говорит, что начиная с Ивана Купалы и до святых Петра и Павла режут березовые ветки на веники. Нас как раз не будет. (с. 66)

Гроза в начале пути – хорошая примета, – говорит Вася. (с. 67)

Большую роль при выборе дерева играли суеверия. Запрещалось рубить деревья „святые” и „проклятые” (к несчастью), избегали деревьев старых. (с. 142)

Есть такая местная поговорка: “Берешь из Киж и с нею спишь”. Но она не пожелала. (с. 149)

На кладбище я оказался свидетелем необычного, отчасти православного, отчасти языческого обряда. Баба Клава накрошила на землю крошек для птиц-душ, покормила кладбищенского пса, Ивану налила водки в стакан, после чего мы сами присели на скамеечку, выпили по сто грамм и закусили... (с. 171)

Функционально-стилевая синкретичность традиционного сельского общения кратко и наглядно выражена и в таком фрагменте текста:

На отдаленных рыболовных угодьях Мурмана, Шпицбергена и Новой Земли работали **артелями**, в селах жили **миром**, верили **по-старому**, творили чудеса деревянной архитектуры, сложили сотни **былин**. (с. 33)

Еще одна стратегия вовлечения рассматриваемых языковых средств (маркеров живой народной речи) в структуру текста состоит в их

² Л.И. Баранникова, *Общее и русское языкознание: Избранные работы*, Москва 2005, с. 180.

использовании в непосредственном взаимодействии на уровне локальной связности текста, в условиях относительно узкого контекста. Например – в портретно-речевых зарисовках, посвященных уроженцам каргопольской деревни Харлушино: Васильичу – Александру Васильевичу Костину, Бабе Клаве – его сестре, Анне Павловне – его учительнице. Речь героев проникает в авторскую, она имеет типичную для бытового общения синтаксическую организацию, включает традиционно-поэтические элементы, соответствует народным представлениям об обычаях и порядке. Приведем фрагменты речевых характеристик названных персонажей.

(а) Баба Клава:

Сидим на кухне у бабы Клавы. Сестра Васильича говорит на чудесном каргопольском наречии, например: „А мне **всяко однако**”. Москвич бы сказал: „А мне все равно”. Не успели мы познакомиться, она сообщает, что у нее все готово для пути на тот свет – **подорожник**, саван и платье – осталось только пуговицы пришить. Даже тридцать тысяч рублей собрала.

– На памятник своей души, – так она выразилась.

Баба Клава любит хорошо заваренный чай. Масло покупает только вологодское, карамельки „Красный октябрь”, чай обязательно китайский, колбасу можно няндомскую. Словом, баба Клава заботится о качестве продуктов на столе.

Баба Клава все бормочет что-то под нос (прямо как Ленин в *Тельце*), порой я улавливаю целые фразы, вот, например:

– **Временечко** идет, все ближе и ближе до смерти.

Чаще, однако, долетают до меня отдельные слова.

– Баба Клава, что значит „махомалка”?

– **Махомалкой** может быть капуста, а может – человек.

Полцарства и коня в придачу тому, кто мне объяснит, о чем речь.

Кстати. Однажды вечером баба Клава заметила, что белые ночи подходят к концу. А когда конец? **На Ильин день. После него белого коня ночью в поле не разглядишь.** (с. 161–163)

(б) Анна Павловна (ее речевое поведение подчинено коммуникативной тактике скрытого выпрашивания, манипулирования):

Заходим и словно попадаем в роман Пелевина: в снях мрачно, как бывает на границе другого мира, в избе по стенам ковры и портрет Сталина, иконы в красном углу, вырезанные из журнала, у стены кровать с горой уложенных друг на друга подушек – от самой большой до самой маленькой, под кроватью ржавый ночной горшок.

В кухне кривая бабуля с палкой (ей восемьдесят два года, на каких-нибудь девять лет старше Васильича) не сразу признала Сашку, любимого ученика, и пустила слезу, что угостить нас нечем. Мы вынули свой чай, потому что у Павловны даже того не оказалось, а когда я выложил на стол рафинад, она горстями хватала его и прятала под подушку, не видя, что мы смотрим.

– Бог мне вас послал, – бормотала бабка беззубо, – с утра молилась, чтоб хоть сухарик.

Оставить нас на ночь она, к сожалению, не может, сын с приятелями на рыбалку приехал. Это его „БМВ”. Не дай бог чужого дома застанут. (с. 165–166)

(в) Васильич (его монологи связаны с актуализацией знаний о прошлом и ценностях прежней жизни):

По дороге Васильич рассказывал о жизни в колхозе во время войны. Вставал в полчетвертого, кормил лошадь и шел в поле – до десяти вечера. С перебивом на обед – для лошади... Ей-то силы нужны.

– А сами вы когда ели?

– Как мама в поле принесет. **Калитки** с картошкой или ржаные лепешки да кружку молока.

Во время войны колхозники получали по триста граммов зерна в день. Они с мамой и сестрой каждые пять дней брали четыре с половиной кило овса или ржи – что было. Зерно мололи жерновами, добавляли сосновую кору, мох, клубни айра, клевер. Из этого теста мама пекла калитки или лепешки.

Еще у них была корова, и хотя молоко, в принципе, полагалось сдавать, поллитра всегда себе оставляли. Иногда мать ходила к рыбакам на озеро Лача и чистила им рыбу за потроха – икру и печень. Эти потроха запекала в **рыбнике**. [...] Это зерно потом вычитали из доли. Урожай делили в декабре: восемьдесят процентов государству, из оставшегося откладывали на сев, остальное – раздавали колхозникам, в зависимости от количества трудодней. На эту долю надо было прожить – матери с сестрой – полгода зимы. Васильич зимой работал на лесоповале. (с. 167–168)

Вместе с изображением поступков, внешних признаков речевые характеристики весьма значимы для проникновения в суть наивной философии, уяснения системы ценностей северян. Это особенно показательно в контексте рассуждений автора о стихии языка.

Ранее мы отмечали, что в собирательном образе жителя северной российской глубинки, в его речевом портрете в прозе Вилька свое место занимает грубая бранная речь, сквернословие. Примечательно, что в индивидуальном речевом портретировании трех рассмотренных здесь персонажей этот компонент ослаблен, нивелирован. В целом же данный речевой слой Вильк не игнорирует. Надо сказать, что в лингвистических описаниях дисфемистическая (огрубляющая) составляющая живой речи по

разным причинам очень часто не принимается во внимание. Но она не может не быть замечена даже невнимательным слушателем. В книге Вилька речевой слой мата отчасти воспроизводится в безоценочном контексте, отчасти изображается косвенно, через упоминание самого факта сквернословия.

Наконец, в связи с темой статьи кратко остановимся на заглавии книги. Функцию заглавия выполняет слово *волок*, обладающее высокой культурологической значимостью, вектор которой задается исторической перспективой и функционально-территориальными ограничениями в плане употребления данного слова.

В контексте интересующей нас проблематики важным является то обстоятельство, что в русском языке данное слово является диалектным и как элемент народной речи оно до сих пор характеризуется активностью употребления, то есть принадлежит актуальной части народного лексикона. Об этом в совокупности свидетельствуют и данные диалектных словарей, и результаты экспедиционного обследования населенных пунктов. Так, в материалах *Архангельского областного словаря* это слово отмечено во множестве значений для всех районов Архангельской области³. *Словарь русских народных говоров* показывает распространение этого слова (опять же следует сделать оговорку – в разных его значениях) не только в архангельских говорах, но и в вологодских, вятских, новгородских, костромских, пермских, тобольских, тверских, псковских, ярославских и некоторых других диалектах русского языка⁴.

Анализ семантических признаков слова *волок* (включая этимологические) свидетельствует об амбивалентности его пространственного значения: это и ‘место (локус)’ и ‘путь’. Для прозы Вилька, рассматриваемой в свете ее ключевых образов и содержательно-концептуальных доминант, определяющим смыслом является ‘путь’. Ср.: „Слово-образ *тропа*, а также семантически близкие ему *путь*, *дорога* выполняют в «северной прозе» Вилька текстообразующую функцию, определяя [...] внутреннюю цельность и связность этого синтетического текста”⁵. Вероятно, он усложняется этимологически выводимым семантическим признаком – ‘преодоление’⁶.

³ *Архангельский областной словарь*, под ред. О.Г. Гецовой, вып. 5, Москва 1987, с. 42–45.

⁴ *Словарь русских народных говоров*, под ред. Ф.П. Филина. Ф.П. Сороколетова, вып. 5, Ленинград 1970, с. 49–51.

⁵ Т.В. Лошакова, *Русская тропа Мариуша Вилька*, [в:] *Дар слова, сборник статей к юбилею Аллы Алексеевны Камаловой*, Северодвинск 2011, с. 200.

⁶ П.Я. Черных, *Историко-этимологический словарь современного русского языка*, в 2 т., Москва 2004, т. 1, с. 157.

Подводя предварительные итоги, выскажем предположение, что использование элементов народной речи в прозе Вилька – это все-таки результат эстетически переосмысленного употребления данных единиц (умело и талантливо стилизуемого под живую речь), в тексте они проживают иную, нежели в повседневном общении, жизнь, выполняют иной набор функций, подвергаются смысловым преобразованиям. Подчеркнем, однако, что мы воздерживаемся от сравнения эстетически переосмысленного варианта народной речи и ее конкретных территориальных вариантов. Ср. иной подход к литературным текстам, в которых употребляются диалектизмы: „Вводя диалектные особенности в речь персонажей произведения – крестьян – и создавая тем самым речевую характеристику героев описываемых событий, писатель не должен упускать из виду, что такая характеристика должна соответствовать образу персонажа как представителя населения, живущего на определенной территории и пользующегося в повседневной жизни местным говором. Она должна соответствовать и территории, на которой происходит действие, и тому диалекту или говору, который на данной территории расположен. Иначе говоря, отражая диалектные особенности в речи персонажей-крестьян, писатель должен отдавать себе отчет, какие диалектные черты этому персонажу могут быть приписаны, т.е. иметь представление о территориальном распределении основных русских диалектных явлений”⁷.

Здесь, как нам кажется, постулируется сугубо формальный и во многом механистичный подход к созданию художественного текста.

Сам образ „северного крестьянина” („северного мужика”) в рассматриваемой книге не является четко очерченным, но его можно отнести к числу смысловых скреп текста. Художественная техника создания образа сродни импрессионистской: определяющую роль в структурировании смыслового поля играют детали – чистые составляющие, на которые раскладываются сложные средства. Они позволяют эстетически точно передать впечатления, настроение. Функции таких „мазков” (деталей) наряду с другими средствами выполняют и рассмотренные нами словесные вкрапления, фрагменты речи „обитателей глубинки”.

⁷ В.В. Иванов, *Диалектная речь в художественном тексте (к постановке проблемы)*, [в:] *Материалы и исследования по русской диалектологии*, вып. II (VIII), Наука, Москва 2004, с. 469–470.

Streszczenie

Językowy portret północnego chłopca w prozie Mariusza Wilka

W artykule na przykładzie książki M. Wilka *Wołoka* rozpatrywane są językowe jednostki, które strukturyzują chłopski wariant języka rosyjskiego. Pod uwagę wzięto w szczególności nazywanie specyficznych realiów bytu i przyrody, narodową terminologię, szczątkowe zjawiska ze sfery folkloru i przesądów. Podkreśla się, że użycie wyznaczników żywego narodowego języka podporządkowano dwóm strategiom tekstowego obrazowania: (1) zapewnieniu ogólnej łączliwości tekstu i aktualizacja różnych komponentów jego znaczeniowej struktury; (2) wyzyskaniu tekstu w bezpośrednim oddziaływaniu na poziomie związków lokalnych.

Summary

A speech portrait of a northern peasant in Marius Vilka's prose

The book *Portage* by M. Vilka is analyzed in the article. We consider the linguistic units that structure peasant variant of Russian speech, particularly – the names of the specific realities of life and nature, folk terminology, residuals from the sphere of folklore and superstitions. It is emphasized that the use of live traditional speech markers is subjected to two strategies of text generation: (1) ensuring the global coherence of the text and updating the different components of its semantic structure, and (2) the use of a direct interaction at the level of local text coherence.